

Паровик из Нельи миновал ворота Майо и катил вдоль большого проспекта, выходившего на Сену. Паровозик, прицепленный к единственному вагону, свистел, чтобы освободить себе дорогу, изрыгал пар, пыхтел, как запыхавшийся бегун, а его поршни торопливо стучали, словно движущиеся железные ноги. Тягостный зной летнего вечера нависал над дорогой; хотя не было ни малейшего ветра, над нею подымалось облако белой меловой пыли, густой, удушливой и горячей, которая липла к влажной коже, попадала в глаза, проникала в легкие.

Но люди все же выходили на пороги домов в надежде найти хоть немного прохлады.

Окна в вагоне были опущены, и занавески разевались от быстрой езды. Лишь несколько пассажиров занимали внутренние места (в такие жаркие дни большинство предпочитало ехать на империалистическом либо на площадках). То были толстые дамы в смешных туалетах, пригородные мещанки, у которых недостаток изящества заменяется нелепой чопорностью; то были усталые канцелярские служащие, сутулые, с пожелтевшими лицами и с одним плечом выше другого – из-за постоянной работы в согнутом положении у письменного стола. Их беспокойные и унылые лица говорили также о домашних заботах, о постоянной нужде в деньгах, об окончательно рухнувших былых надеждах: все они принадлежали к той армии обтрепанных бедняков, которые еле сводят концы с концами на окраинах Парижа, среди свалок, в крохотных, жалких оштукатуренных домишках с палисадником вместо сада.

Невысокий толстый человек с обрюзгшей физиономией и большим животом, свисавшим между расставленных ног, одетый во все черное и с орденской ленточкой в петлице, разговаривал около входной двери с долговязым, худым господином неряшливого вида, в белом грязном тиковом костюме и в старой панаме. Первый говорил медленно, запинаясь, так что порою казалось, будто он заикается; это был Г-н Караван, старший чиновник Морского министерства. Собеседник его был некогда лекарем на борту торгового судна, а теперь поселился в Курбевуа, где он применял к нуждам местной бедноты те смутные познания из медицины, которые остались у него после богатой приключений жизни. Фамилия его была Шене, и он требовал, чтобы его звали доктором. Насчет его нравственности ходили не вполне благоприятные слухи.

Г-н Караван, в качестве чиновника, всегда вел правильный образ жизни. Вот уже тридцать лет, как он каждое утро неизменно направлялся на службу по одной и той же дороге, встречая в тот же час, на том же месте все тех же людей, идущих по своим делам; и каждый вечер он возвращался той же дорогой, где ему снова попадались те же лица, успевшие на его глазах состариться.

Каждый день, купив на углу предместья Сент-Оноре свою газетку, стоившую одно су, он запасался двумя булочками и входил в министерство, словно преступник, обрекающий себя на тюремное заключение; он спешил в свой отдел с сердцем, полным тревоги, в вечном ожидании выговора за какую-либо оплошность, которую мог допустить в работе.

Ничто ни разу ни в чем не изменило однообразного течения его жизни, так как вне круга дел его департамента, вне повышений и наград никакие события его не затрагивали. Ни в министерстве, ни в своей семье (он женился на дочери сослуживца, не взяв за неё никакого приданого) он ни о чем, кроме служебных дел, не говорил. В его уме, захваченном от ежедневной отупляющей работы, не было других мыслей, других надежд, других мечтаний, кроме тех, которые относились к его министерству. Одно только огорчение постоянно омрачало его чиновничью радости: это захват должностей начальника и помощника начальника морскими комиссарами – «серебряных дел мастерами», как их называли из-за серебряных галунов на мундирах; каждый вечер, обедая с женой, вполне разделявшей его негодование, он приводил всевозможные доводы в доказательство того, как несправедливо предоставлять места в Париже людям, назначение которых – плавать по морям.

Теперь он состарился, не заметив даже, как прошла его жизнь: продолжением коллежа, без малейшего перехода, явилась его служба, где надзирателей, перед которыми он некогда трепетал, заместили начальники, пугавшие его до ужаса. Самый порог кабинетов этих деспотов повергал его в дрожь; от этого вечного страха у него были неловкие манеры, приниженный вид, и он нервно заикался.

Он знал Париж не более того слепца, которого собака ежедневно подводит к одним и тем же воротам, а если и узнавал из своей газетки о происшествиях и скандалах, то воспринимал их как сумасбродные сказки, нарочно выдуманные для развлечения мелких чиновников. Сторонник порядка, реакционер, хотя и не принадлежавший ни к какой определенной партии, но враг «новшеств», он не читал о политических событиях, которые, впрочем, всегда извращались его листком в угоду чьим-либо интересам и за соответствующую плату. А подымаясь вечером по проспекту Елисейских полей, он глядел на разряженную толпу гуляющих, на катящийся мимо него поток экипажей глазами робкого путешественника, пробирающегося по незнакомой дальней стране.

В этом году истекли тридцать лет его обязательной службы, и он к первому января получил крест Почетного легиона, которым в подобных полувоенных учреждениях награждается длительное и жалкое рабство (его называют беспорочно службой) этих унылых каторжников, прикованных к зеленым папкам. Неожиданная почесть внушила ему новое и весьма высокое представление о своих способностях и внесла коренное изменение в его привычки. С этих пор он отказался носить цветные панталоны и куртки и стал облачаться в черные брюки и длинные сюртуки, на которых его ленточка, очень широкая, выделялась лучше; бреясь теперь каждое утро, более тщательно отделявая ногти, меняя белье через день – по естественному чувству уважения к национальному ордену, кавалером которого он стал, – он превратился отныне в другого Каравана, прилизанного, чопорного и снисходительного.

Дома он по всякому поводу говорил: «мой крест». Его обуяла такая гордыня, что он уже видеть не мог какой-либо ленточки в чужой петлице. Больше всего он возмущался при виде иностранных орденов, «ношение которых следовало бы запретить во Франции», и особенно негодовал на доктора Шене, своего ежевечернего спутника, который всегда был украшен каким-нибудь орденом – белым, синим, оранжевым или зеленым.

Впрочем, их разговор на переезде от Триумфальной арки до Нельи был всегда одним и тем же; и в этот день, как во все предыдущие, они прежде всего стали возмущаться различными местными непорядками, которым мэр Нельи почему-то потворствовал. Затем, как это неизбежно бывает в обществе врача, Караван перевел разговор на болезни, надеясь перехватить несколько бесплатных советов, а то и

целую даровую консультацию, если ловко взяться за дело, утаив свои скрытые побуждения. С некоторого времени здоровье матери внушило ему беспокойство. У нее начались частые длительные обмороки; ей уже было девяносто лет, но лечиться она не хотела.

Ее преклонный возраст особенно умилял Каравана, и он то и дело повторял, обращаясь к доктору Шене:

– Часто ли вам приходится видеть людей, доживших до таких лет?

И он потирал руки от удовольствия не потому, что желал, чтобы его старушка вечно жила на земле, но потому, что продолжительность жизни матери являлась как бы залогом его собственного долголетия.

Он говорил:

– В нашем семействе живут долго, я тоже уверен, что умру в глубокой старости, разве только не случится какое несчастье.

Лекарь взглянул на него с сожалением; несколько секунд разглядывал он багровое лицо соседа, его толстую шею, брюхо, свисавшее между дряблых жирных ног, всю угрожающую апоплексией тучную фигуру старого, расслабленного чиновника и, сдвинув на затылок сероватую панаму, насмешливо ответил:

– Напрасно вы так уверены, мой друг. Ваша матушка тощая, как индианка, а ведь вы на бочку похожи.

Смузенный Караван замолчал.

Паровичок подъехал к станции. Оба спутника сошли, и г-н Шене предложил Каравану рюмку вермута в кафе «Глобус», напротив, где оба они были завсегдатаями. Хозяин, их приятель, протянул им два пальца поверх бутылки, стоявших на прилавке, после чего они подошли к трем игрокам в домино, засевшим здесь с полудня, и перекинулись с ними несколькими дружескими словами с неизбежным: «Что нового?» Затем игроки опять принялись за свою партию, а когда немного погодя им пожелали всего хорошего, они протянули руки, не подымая голов, и Караван с Шене отправились по домам обедать.

Караван жил неподалеку от площади Курбевуа в маленьком трехэтажном доме, нижний этаж которого был занят парикмахером.

Две спальни, столовая и кухня, а в них несколько поломанных и склеенных стульев, по мере надобности перекочевывавших из одной комнаты в другую, – такова была вся квартира, где г-жа Караван целые дни возилась с уборкой, в то время как ее двенадцатилетняя дочь Мари-Луиза и девятилетний сын Филипп-Огюст шлепали по уличным канавам вместе с другими окрестными щелками.

На третьем этаже Караван поместил свою мать; она славилась скромностью во всем квартале, а по поводу ее худобы говорили, что господь бог применил к ней ее же собственные принципы скромности. Постоянно в дурном настроении, она не проводила дня без ссор и без приступов бешеного гнева. Она задирала из окна соседей, выходивших к себе на порог, торговок галантерейными товарами, метельщиков улиц и мальчишек, которые в отместку издали следовали за ней, когда она выбиралась из дома, и кричали:

– Эй ты, уродина!

Служанка, родом из Нормандии, на редкость беспринципная, помогала по хозяйству и ночевала на третьем этаже около старухи, на случай какого-нибудь несчастья.

Когда Караван вернулся домой, жена его, одержимая манией уборки, наводила куском фланели блеск на стулья красного дерева, расставленные по пустым комнатам. Она всегда носила нитяные перчатки и чепчик с разноцветными лентами, неизменно съезжавший ей на ухо; когда ее заставали за натиранием полов, за чисткой чего-нибудь, за обметанием пыли или стиркой, она всякий раз говорила:

– Я не богата, у меня все очень просто, но чистота – моя роскошь, а эта роскошь стоит всякой другой.

У нее был настойчивый и практический ум, и она во всем руководила мужем. Каждый вечер за столом, а затем в постели они вели продолжительные беседы о служебных делах, и хотя она была моложе его на двадцать лет, он доверял ей, как духовнику, и во всем следовал ее советам.

Она никогда не была хороша собой, а теперь стала прямо безобразной из-за маленького роста и крайней худобы. Неумение одеться всегда скрадывало и те жалкие женские прелести, которые хорошо подобранный костюм мог бы выгодно оттенить. Ее юбки постоянно съезжали на сторону, и она постоянно почесывалась где попало, не обращая внимания на присутствие посторонних; это была какая-то мания, переходившая в тик. Единственным украшением, которое она себе позволяла, было множество перепутанных шелковых лент на претенциозных, носимых ею дома чепцах.

Завидев мужа, она выпрямилась и, поцеловав его в бакенбарды, спросила:

– Ты не забыл о Потене, мой друг?

Речь шла о поручении, которое он обещал исполнить. Караван в отчаянии упал на стул: опять, уже в четвертый раз, он забыл про это поручение!

– Это какой-то рок, – сказал он, – прямо какой-то рок: ведь я помню об этом весь день, а как только придет вечер, вечно забываю.

Он был огорчен до крайности, она утешила его:

– Ну, не забудешь завтра, только и всего. Что нового в министерстве?

– Большая новость: еще один серебряных дел мастер назначен помощником начальника.

Она сделалась серьезной.

– В какой отдел?

– В отдел заграничных закупок.

Она рассердилась.

– Значит, на место Рамона, на то самое, которое я так желала для тебя. Ну, а что Рамон? В отставку?

Он пробормотал:

– В отставку.

Она вспылила, чепчик съехал ей на плечо.

– Видно, на твоей лавочке приходится поставить крест, там ничего не добьешься. Ну, а как звать твоего морского комиссара?

– Бонассо.

Она взяла Морской ежегодник, который всегда был у нее под рукой, и стала искать: «'Бонассо. – Тулон. – Родился в 1851. – Помощник младшего морского комиссара с 1871. – Произведен в младшие морские комиссары в 1875».

– А был он в плавании, этот тип?

При этом вопросе лицо Каравана прояснилось. Он расхохотался, и его живот затрясся.

– Как его начальник Бален; точь-в-точь, как Вален.

И, захохотав еще громче, он повторил старую остроту, которой восторгались в министерстве:

– Вот уж кого нельзя посыпать водою для инспектирования морской станции Пуан дю Жур: их укачало бы и на речном катере.

Но она оставалась серьезной, пропустив шутку мимо ушей, и, почесывая подбородок, сказала:

– Будь у нас знакомый депутат! Если бы в палате знали обо всем, что у вас творится, министр мигом бы слетел...

На лестнице послышались крики и прервали ее на полуслове. Мари-Луиза и Филипп-Огюст, возвращавшиеся с прогулки по уличным канавам, подымались, угощая друг друга на каждой ступени пощечинами и пинками. Мать яростно бросилась к ним навстречу, схватила каждого за руку и втащила в комнату, задав им по дороге основательную встряску.

Дети тотчас подбежали к отцу, и он долго и нежно целовал их; затем он уселся, взял их на колени и вступил с ними в оживленную беседу.

Филипп-Огюст был препротивный мальчишка с идиотским выражением лица, нечесанный и грязный с головы до пят. Мари-Луиза была уже похожа на мать, говорила, повторяя ее слова, и подражала ее жестам. Она также спросила:

– Что нового в министерстве?

Он весело отвечал:

– Твой друг Рамон, который каждый месяц приходил к нам обедать, оставляет службу, дочурка. На его место назначен новый помощник начальника.

Она подняла глаза на отца и заметила с сожалением рано развившегося ребенка:

– Значит, еще один опередил тебя.

Смех его оборвался, он ничего не ответил и, чтобы переменить разговор, спросил жену, протирающую теперь оконные стекла:

– Мама здорова? Она у себя наверху?

Г-жа Караван перестала тереть стекла, обернулась, поправила чепчик, окончательно съехавший ей на спину, и губы ее задрожали:

– Ах, да! Надо потолковать о твоей матери! Она мне устроила тут целый скандал! Представь себе, госпожа Лебоден, жена парикмахера, поднялась ко мне за крахмалом; я куда-то выходила, а твоя мать выгнала ее, обозвав попрошайкой. Уж я и отчитала старуху! Она притворилась, что не слышит, – это у нее так заведено, когда ей выкладывают правду, – но она ведь такая же глухая, как я. Все это одно кривлянье. Недаром она сию же минуту убралась к себе наверх, не сказав ни слова.

Смузенный Караван промолчал; в эту минуту вошла служанка и доложила, что обед подан. Чтобы предупредить об этом мать, он взял палку от половой щетки, стоявшей в углу, и стукнул три раза в потолок. Затем перешли в столовую, и г-жа Караван-младшая разлила суп в ожидании старухи. Та не приходила, супстыл. Принялись за еду, но ели медленно, а когда тарелки опустели, подождали еще. Взвешенная г-жа Караван накинулась на мужа:

– Она это нарочно делает, так и знай! Ты всегда ее защищашь!

В крайнем смущении, очутившись между двух огней, он послал Мари-Луизу позвать бабушку и безмолвно сидел, опустив глаза, а жена с раздражением стучала кончиком ножа по ножке рюмки.

Дверь отворилась, и в комнату вбежала девочка, запыхавшаяся, бледная, выкрикнув:

– Бабушка лежит на полу.

Караван вскочил и, кинув салфетку на стол, бросился по лестнице, где гулко отдались его торопливые, тяжелые шаги; жена его, предполагая какую-нибудь злобную хитрость со стороны свекрови, последовала за ним, но не спеша и с презрением пожимая плечами.

Старуха, растянувшись во весь рост, лежала ничком посреди комнаты; когда сын повернул ее, она предстала его взорам недвижимая, сухая, с желтой, сморщенной и потемневшей кожей, с закрытыми глазами, стиснутыми зубами, с окоченевшим худым телом.

Караван, стоя перед нею на коленях, стонал:

– Бедная мама! Бедная мама!

Но г-жа Караван-младшая, посмотрев на нее с минуту, заявила:

– С нею опять просто-напросто обморок; и все это только затем, чтобы не дать нам спокойно пообедать, можешь быть уверен.

Тело перенесли на кровать, раздели донага; Караван, его жена и служанка принялись растирать его. Несмотря на все их усилия, старуха не приходила в себя. Тогда послали Розали за доктором Шене.

Он жил далеко на набережной, около Сюрена. Ожидать пришлось долго. Но вот он явился, осмотрел, ощупал, выслушал старуху и заявил:

– Это конец.

Караван грохнулся на тело матери, содрогаясь от бурных рыданий; он судорожно целовал ее неподвижное лицо и плакал так неудержимо, что крупные слезы падали на щеки умершей, как капли воды.

Г-жа Караван-младшая тоже проявила приличествующую случаю скорбь: стоя позади мужа, она испускала слабые вздохи и усиленно терла себе глаза.

Караван, с опухшим лицом, с растрепанными жидкими волосами, обезображеный искренним горем, вдруг поднялся:

– Но... уверены ли вы, доктор... вполне ли вы уверены?..

Лекарь поспешил подошел и, ворочая тело с профессиональной ловкостью, словно торговец, показывающий свой товар, сказал:

– Смотрите, мой друг, взгляните на глаз.

Он приподнял веко. Из-под его пальца показался глаз старухи, совсем не изменившийся, но с несколько расширенным зрачком. Каравана словно что-то ударило в сердце, и страх пронизал его до мозга костей. Г-н Шене взял сведенную судорогой руку, попытался разогнуть пальцы и с рассерженным видом, словно ему противоречили, прибавил:

– Взгляните наконец на эту руку! Будьте покойны, я никогда не ошибусь.

Караван снова повалился на кровать и просто выл от горя. Тем временем его жена, продолжая всхлипывать, уже делала все, что в этом случае полагалось. Она пододвинула ночной столик, разостлала на нем салфетку, поставила четыре свечи, зажгла их, взяла веточку букса из-за зеркала над камином и положила ее в тарелку с чистой водой, так как святой воды у нее не было. Но после минутного раздумья она бросила в эту воду щепотку соли, как бы совершая этим некий обряд освящения.

Закончив все приготовления, которыми полагается сопровождать смерть, она остановилась в неподвижности, и лекарь, помогавший ей, тихонько сказал;

– Надо увести Каравана.

Она кивнула головой в знак согласия и, подойдя к мужу, который продолжал рыдать, стоя на коленях, подняла его за одну руку, а г-н Шене взял его за другую.

Его усадили на стул, и жена, поцеловав мужа в лоб, стала его успокаивать. Лекарь поддерживал ее доводы, рекомендуя твердость, мужество, покорность судьбе – как раз все то, что невозможно сохранить, когда вас постигает подобного рода внезапное горе. Затем они снова взяли его под руки и повели с собою.

Он плакал, как большой ребенок, судорожно всхлипывая, ослабев; его руки безвольно повисли, колени подгибались, и он спустился с лестницы, не сознавая того, что делает, передвигая ноги совершенно машинально.

Его усадили в кресло за столом, перед тарелкой, где его ложка еще лежала в недоеденном супе. И он сидел неподвижно, уставясь на свой стакан и до того убитый горем, что даже утратил способность думать.

Г-жа Караван беседовала в углу с доктором, расспрашивала относительно формальностей, узнавала все необходимые практические сведения. Наконец г-н Шене, который, казалось, все чего-то ожидал, взял шляпу и начал откланиваться, заявив, что еще не обедал.

– Как, вы еще не обедали? – воскликнула она. – Оставайтесь же, доктор, оставайтесь! Вам сейчас подадут все, что у нас есть; самим-то нам теперь, вы понимаете, не до еды.

Он извинялся, отказывался, но она настаивала:

– Ну, право же, останьтесь. В такие минуты большое счастье – иметь около себя друзей; может быть, вы уговорите и моего мужа немного подкрепиться: ему так нужно набраться сил.

Доктор поклонился и положил шляпу на стул:

– В таком случае, сударыня, я принимаю ваше предложение.

Она отдала кое-какие приказания растерянной Розали и села сама за стол – «только для виду, чтобы составить компанию доктору», как она выразилась.

Снова подали остывший суп. Г-н Шене попросил вторую тарелку. Затем появилось блюдо рубцов по-лионски, распространявшее аромат лука; г-жа Караван решилась отведать кусочек.

– Очень вкусно, – сказал доктор.

Она улыбнулась.

– Не правда ли?

Затем обратилась к мужу:

– Скушай немножко, бедный Альфред, чтобы хоть желудок не был совсем пустой; подумай, тебе еще предстоит целая ночь!

Он покорно протянул свою тарелку; точно так же он лег бы в постель, если бы ему это приказали, потому что подчинялся всему без сопротивления и без размышления. И стал есть.

Доктор накладывал себе сам и раза по три принимался за тоже блюдо, а г-жа Караван, время от времени поддевая вилкой большой кусок, глотала его с видом притворной рассеянности.

Когда появилась миска с макаронами, г-н Шене пробормотал:

– Черт возьми! Вот вкусная штука.

На этот раз г-жа Караван сама положила всем на тарелки. Она наполнила и блюдца, в которых, шаля, ковырялись ложками ее сын и дочь; оставшись без надзора, дети пили неразбавленное вино и уже пинали друг друга ногами под столом.

Г-н Шене вспомнил о любви Россини к этому итальянскому блюду и воскликнул:

– Скажите, а ведь это выходит в рифму; можно было бы так и поэму начать:

Маэстро Россини

Любил макарони...

Но его не слушали. Г-жа Караван задумалась, соображая все вероятные последствия совершившегося события, а ее муж скатывал хлебные шарики, клал их на скатерть и смотрел на них с бессмысленным видом. Так как его все время томила жгучая жажда, он то и дело подносил к губам стакан с вином, а мысли его, и так уже расстроенные обрушившимся горем, окончательно мутнели и путались в его сознании, отяжелевшем от начавшегося тягостного процесса пищеварения.

Доктор поглощал вино, как губка, и заметно пьянял. Под действием реакции, неизбежной после нервного потрясения, сама г-жа Караван – хотя она и пила одну воду – волновалась, путалась и чувствовала туман в голове.

Г-н Шене принял рассказывать различные случаи смерти, казавшиеся ему забавными. Ведь в этом предместье Парижа, заселенном приезжими из провинции, не редкость встретить то крестьянско-равнодушное отношение к мертвому, хотя бы это были отец или мать, то неуважение, ту бессознательную жестокость, которые столь обычны для деревни и столь редки в Париже. Он рассказывал:

– На прошлой неделе приглашают меня на улицу Плюто; прихожу и вижу: больной уже мертв, а у него постели все семейство преспокойно распивает бутылку аnisовки, которую купили накануне по капризу умирающего.

Но г-жа Караван, поглощенная думами о наследстве, не слушала его, а сам Караван, совсем отупевший, ничего уже не понимал.

Подали кофе; его заварили покрепче для поддержания бодрости духа. От каждой чашки, долитой коньяком, у всех только сильней разгорались щеки, а мысли в помутившихся головах путались окончательно.

Затем доктор, завладев бутылкой коньяка, налил «посошок». И в полном молчании, слегка отуманенные приятной теплотой, вызываемой

пищеварением, охваченные против воли животным блаженством от выпитого после обеда алкоголя, они медленно тянули коньяк; он был

смешан с сахаром и оставлял на дне чашек желтоватый сироп.

Дети заснули; Розали уложила их в постель.

Машинально подчиняясь потребности забыться, овладевающей людьми, на которых сваливается несчастье, Караван несколько раз налил себе коньяка, и его осовелые глаза засияли.

Наконец доктор встал, собираясь уходить, и взял под руку своего приятеля.

– Пройдемся-ка со мною, – сказал он, – глотнуть воздуха вам будет полезно: когда у человека неприятности, не следует сидеть на месте.

Караван послушно повиновался, надел шляпу, взял трость и вышел на улицу; держась под руку, они спустились к Сене под ярким блеском звезд.

Душистые потоки воздуха струились в жаркой ночи: все окрестные сады были полны цветов, аромат которых, словно уснувший среди дня, пробуждался, казалось, с наступлением вечера и наполнял воздух, примешиваясь к легкому ветерку.

Пуст и безмолвен был широкий проспект с двумя рядами газовых фонарей, тянувшихся до Триумфальной арки. А вдали раздавался гул Парижа, окутанного красноватой дымкой. Это было нечто вроде непрерывных раскатов грома, которым порою издали как бы отвечали с равнины свистки поездов, мчавшихся на всех парах к Парижу или уносившихся к океану.

Свежий воздух, удариивший обоим приятелям в лицо, сначала их ошеломил; доктор стал пошатываться, а у Каравана усилилось головокружение, которое он испытывал с самого обеда. Он шел, как во сне, одурманенный и словно парализованный, в каком-то моральном оцепенении, заглушавшем его страдания, уже не чувствуя острого горя, а даже ощущая, что ему легче под влиянием теплых испарений ночи.

Дойдя до моста, они свернули направо, и в лицо им пахнуло свежим дыханием реки. Она текла печально и спокойно за стеной высоких тополей; звезды, колеблемые течением, словно плыли по воде. Тонкий беловатый туман, стлавшийся над откосом другого берега, наполнял легкие влажностью. Караван остановился: запах реки пробудил в его сердце воспоминания далекого прошлого.

И вдруг он увидел свою мать, какою видел ее в детстве: сгорбившись, она стояла на коленях у крыльца их дома там, далеко в Пикардии, и стирала белье в маленьком ручейке, протекавшем через сад. Он слышал стук ее валька среди безмолвного покоя деревни и ее голос: «Альфред, принеси мыло!» Он ощутил тот же запах текущей воды, тот же туман, поднявшийся с увлажненной земли, те же болотные испарения, вкус которых незабываемо сохранился на его губах; и вот все это он снова почувствовал сегодня, в тот самый вечер, когда его мать умерла.

Он остановился, скованный новым приступом бурного отчаяния. Это был словно яркий луч, сразу осветивший всю глубину постигшего его горя; мимолетное дуновение повергло его в черную бездну неизбывной скорби. Он почувствовал, как сердце его разрывается при мысли об этой вечной разлуке. Жизнь его как бы рассеклась на две части, и вся его молодость исчезла, поглощенная этой смертью. Со всем «прошлым» было покончено; все воспоминания отрочества улетели; никто уже не поговорит с ним о старинных происшествиях, о людях, которых он когда-то знал, о родных местах, о нем самом, об интимных мелочах его былой жизни; перестала существовать какая-то часть его «я», и очередь умирать была теперь за другой.

Перед ним проходили тени прошлого. Он снова увидел «маму», молодую, одетую в полинявшие платья, которые она носила так долго, что они казались неотделимыми от нее; в его памяти воскресали тысячи забытых подробностей: различные выражения ее лица, ее жесты, интонации, привычки, причуды, вспышки гнева, морщины, движение худых пальцев, все то, что так привычно ей и чего у нее уже не будет.

Вцепившись в руку доктора, он испускал стоны. Его ослабевшие ноги тряслись, вся грузная фигура содрогалась от рыданий, и он лепетал:

– Мама, бедная мама, бедная мама!..

Однако его спутнику, все еще непротрезвившему и мечтавшему закончить вечер в местах, которые он тайком посещал, надоели эти острые приливы горя; он усадил Каравана на траву и покинул его под предлогом посещения больного.

Караван долго плакал, а затем, когда слезы иссякли и вся его печаль, так сказать, излилась, он снова почувствовал облегчение, отдых, внезапно наступившее спокойствие.

Взошла луна, заливая горизонт мирным, тихим светом. Огромные тополя в ее лучах поблескивали серебром, а туман, расстилавшийся по равнине, казался зыбкой снежной пеленой; река, по которой больше уже не плыли звезды, как бы подернулась перламутром и продолжала течь, бороздясь сверкающей рябью. Воздух был мягкий, ветерок душистый. Какою-то негой был полон сон земли, и Караван упивался этой сладостью ночи, глубоко вдыхал воздух, и ему казалось, что все его тело проникается свежестью, тишиной и неземной отрадой.

Однако он противился этому овладевавшему им блаженному состоянию и, мысленно повторяя: «Мама, бедная мама!», – старался снова вызвать в себе слезы по своеобразной совестливости честного человека; но ничего не выходило, печаль больше уже не угнетала его, несмотря на те же самые мысли, от которых еще недавно он так горько рыдал.

Тогда он поднялся и тихими шагами поплелся домой, чувствуя, что среди спокойного равнодушия безмятежной природы сердце его против воли умиротворено.

Дойдя до моста, он увидел фонарь последнего паровичка, готового к отправлению, а позади него освещенные окна кафе «Глобус».

Тут его охватило непреодолимое желание рассказать кому-нибудь о постигшем его горе, вызвать сочувствие, возбудить к себе интерес. Он состроил печальную мину, толкнул дверь и направился к прилавку, где, как всегда, восседал хозяин. Он рассчитывал произвести эффект, ждал, что все так и поднимутся, бросятся ему навстречу, протягивая руки и воскликнав: «Что такое с вами?» Однако никто и не приметил отчаяния на его лице. Тогда он облокотился на прилавок и, сжимая голову руками, прошептал:

– Боже мой! Боже мой!

Хозяин взглянул на него:

– Что с вами, господин Караван? Нездоровится?

Он отвечал:

– Нет, мой друг, только что скончалась моя мать.

Хозяин рассеянно промолвил: «А!» – и так как один из гостей в конце залы крикнул: «Пожалуйста, кружку пива!», – то он ответил громовым голосом: «Слушаю! Бум! Несу!» – и бросился подавать, покинув о столбеневшего Каравана.

За тем же столиком, что и до обеда, те же трое любителей домино сосредоточенно и неподвижно продолжали играть. В поисках сочувствия Караван подошел к ним. Никто из них не замечал его, и он решил заговорить первый.

– Меня только что постигло страшное несчастье, – сказал он.

Все трое одновременно подняли головы, не отрывая глаз от костяшек, которые держали в руках.

– Да что вы? Что случилось?

– Только что скончалась моя мать.

Один из игроков пробормотал: «Ах, черт возьми!» – с притворным огорчением равнодушного человека. Другой, не найдя, что сказать, печально свистнул, покачав при этом головой. Третий же снова принял за игру, как бы подумав: «Только-то!»

Караван ожидал услышать одно из тех слов, которые, как говорится, «исходят из сердца». Но, встретив такой прием, он удалился, возмущаясь их безразличием к горю друга, хотя в данную минуту это горе настолько затихло, что он уже его вовсе не ощущал.

И он пошел домой.

Жена ожидала его, сидя в ночной рубашке на низком стуле у открытого окна и все время раздумывая о наследстве.

– Раздевайся, – сказала она, – поговорим в постели.

Он поднял голову и указал взглядом на потолок:

– Но ведь там… наверху… нет никого.

– Извини, при ней Розали, ты ее сменишь в три часа, а сначала немного поспишь.

Чтобы быть готовым, он не снял кальсон и, повязав голову фуляром, занял свое место рядом с женой, которая уже скользнула под одеяло.

Некоторое время они молчали. Она была погружена в раздумье.

Даже в этот час ее головной убор был украшен розовым бантом, съехавшим к одному уху, словно по непреодолимой привычке, усвоенной всеми чепцами, которые она носила.

Внезапно она повернула голову к мужу.

– Не знаешь, сделала ли мать завещание? – спросила она.

Он колебался:

– Я – я… не думаю… Нет, вероятно, не сделала.

Г-жа Караван пристально поглядела мужу в глаза и прошипела тихим злобным голосом:

– Это, по-моему, подло; мы ведь уже десять лет надрываемся, ухаживаем за ней, держим ее у себя, кормим! Небось, твоя сестра этого не сделала бы, да и я не стала бы делать, если бы знала, какая награда меня ожидает! Да, это позорное пятно на ее памяти! Ты скажешь, что она платила за свое содержание, это правда. Но разве уход детей оплачивается деньгами? Признательность за него выражается в завещании. Вот как поступают порядочные люди. А я-то, значит, трудилась, хлопотала – и все даром! Нечего сказать, хорошо она поступила, очень хорошо!

Караван растерянно повторял:

– Дорогая, дорогая, прошу тебя, умоляю!

Под конец, она успокоилась и сказала обычным тоном:

– Завтра утром надо будет предупредить твою сестру.

Он так и подскочил:

– В самом деле, я и не подумал; чуть свет пошлю телеграмму.

Но она остановила его, так как все уже обдумала.

– Нет, – сказала она, – пошлешь между десятью и одиннадцатью часами, не ранее. А то мы не успеем обернуться до ее приезда. От Шарантона ей не больше двух часов езды до нас. Мы скажем, что ты просто голову потерял. Если мы предупредим утром, то не управимся с разборкой имущества!

Тут Караван хлопнул себя по лбу и сказал тем робким тоном, каким всегда говорил о своем начальнике, самая мысль о котором повергала его в трепет:

– Надо предупредить и в министерстве.

– Не надо, – возразила она, – в подобных обстоятельствах всегда извинительно позабыть. Не предупреждай; поверь мне, твоему начальнику не в чем будет тебя упрекнуть, хоть ты и причинишь ему затруднения.

– О, да! – сказал он. – Он здорово разозлится, когда заметит мое отсутствие. Да, ты права, твоя идея великолепна. Когда я ему заявлю, что потерял мать, он поневоле замолчит.

И, представляя себе физиономию своего начальника, чиновник в восторге потирал руки, а тем временем на верхнем этаже неподвижно лежало тело старухи.

У г-жи Караван был озабоченный вид: ее мучила мысль, которую трудно было высказать. Наконец она собралась с духом:

– Не правда ли, мать подарила тебе свои часы с девушкой, играющей в бильбоке?

Он порылся в памяти и ответил:

– Да, да! Она мне сказала – но это было давно, когда только что переехала сюда, – так вот, она тогда сказала: «Часы достанутся тебе, если будешь обо мне хорошенько заботиться».

Г-жа Караван успокоилась, и лицо ее прояснилось.

– В таком случае, надо за ними сходить, а то, когда приедет твоя сестра, она не даст нам взять их.

Он заколебался:

– Ты так думаешь?..

Она рассердилась:

– Конечно, так думаю; если часы будут здесь – знать не знаем, ведать не ведаем: они наши. То же самое с комодом, который стоит в ее комнате, тот, что с мраморной доской: она подарила его мне однажды, когда была в духе. Мы снесем его вниз заодно.

У Каравана был несколько недоверчивый вид.

– Но, дорогая, не ответить бы за это!

Она сердито повернулась к нему:

– Ах, так! Ты всегда будешь верен себе? Ты способен смотреть, как твои дети умрут с голода, лишь бы тебе пальцем не пощевелить. Раз она мне отдала комод, он наш! А если твоя сестра будет недовольна, пусть-ка попробует сказать мне это в лицо! Плевала я на твою сестру! Ну, вставай, перенесем сейчас же все, что твоя мать нам подарила.

Покорный и дрожащий, он вылез из постели и хотел было надеть брюки, но жена остановила его:

– Нечего одеваться, оставайся в кальсонах; ведь я пойду так, как есть!

И оба они вочных туалетах бесшумно поднялись по лестнице, осторожно открыли дверь и вошли в комнату, где четыре свечи, горевшие вокруг тарелки с веточкой букса, казалось, одни только и сторожили старуху в ее суровом покое; служанка, развалившись в кресле, протянув ноги, скрестив руки на животе, закинув голову набок, тоже неподвижная, спала с раскрытым ртом, слегка похрапывая.

Караван взял часы. То был один из тех нелепых предметов, какие в великом множестве произвело искусство Второй империи. Позолоченная бронзовая девица в венке из разнообразных цветов на голове держала в руке бильбоке, шарик которого служил маятником.

– Дай мне это, – сказала жена, – а ты возьми мраморную доску от комода.

Он повиновался и, задыхаясь, с усилием взвалил мрамор себе на плечо.

Затем супруги отправились к себе. Караван, согнувшись в дверях, начал, пошатываясь, спускаться по лестнице, а жена пятилась, освещая ей путь одной рукой и держа часы в другой.

Когда они добрались до своей комнаты, она облегченно вздохнула:

– Главное сделано, пойдем принесем остальное.

Ящики комода были битком набиты всяким скарбом старухи. Все это следовало куда-нибудь припрятать.

Г-же Караван пришла идея:

– Пойди принеси из передней еловый сундук для дров; цена ему не больше сорока су, и его можно поставить сюда.

И когда сундук был принесен, они принялись перекладывать вещи.

Одни за другими вынимали они рукавчики, воротнички, сорочки, чепчики – все жалкое тряпье старухи, лежавшей тут же рядом, и старательно раскладывали их в сундуке, чтобы г-жа Бро, другая наследница умершей, ожидаемая на следующий день, ничего не заподозрила.

Покончив с этим, они снесли сперва ящики, а затем самый комод, держа его вдвоем; они долго обдумывали, куда бы его лучше поставить. Наконец выбрали место в спальне, против кровати, между двумя окнами.

Поставив туда комод, г-жа Караван положила в него собственное белье. Часы поместились на камине в столовой, и супруги поглядели, какой получился вид. Они пришли в восторг.

– А ведь очень хорошо, – сказала она.

– Очень хорошо, – подтвердил он.

Затем они улеглись. Она потушила свечу, и вскоре все в доме спали.

Уже давно рассвело, когда Караван пробудился. В голове у него было смутно, и он вспомнил о случившемся лишь несколько минут спустя. Он ощущал как бы сильный удар в грудь и соскочил с кровати, вне себя от горя, готовый расплакаться.

Он поспешил подняться наверх, где Розали все еще хранила в той же позе, непробудно прослав всю ночь. Отослав ее заниматься своим делом, он заменил дрогнувшие свечи и стал внимательно разглядывать покойную мать; в его голове мелькали те мнимоглубокие мысли, те религиозные и философские пошлости, которые навязчиво преследуют недалеких людей перед лицом смерти.

Жена позвала его, и он сошел вниз. Она составила список всего, что надо было сделать утром; этот реестр привел его в ужас.

Он прочитал:

1. Сделать заявление в мэрии.
2. Вызвать врача для установления смерти.
3. Заказать гроб.
4. Зайти в церковь.
5. В похоронное бюро.
6. В типографию для напечатания уведомлений.
7. К нотариусу.
8. На телеграф для извещения родных.

И вдобавок целый ряд мелких поручений.

Он взял шляпу и удалился.

Тем временем весть о смерти распространялась, приходили соседки и просили показать им умершую.

У парикмахера в нижнем этаже по этому поводу произошла даже сцена между мужем и женой, в то время как он брил одного клиента.

Жена, по обыкновению вязавшая чулок, промолвила:

– Еще одной стало меньше, а уж это была скряга, каких мало. По правде говоря, не любила я ее, а все-таки надо пойти поглядеть.

Намыливая подбородок посетителя, муж проворчал:

– Еще что выдумала! Одни только бабы на это способны. Мало вы грызетесь при жизни, вы и после смерти-то не даете друг дружке покоя.

Но жена, не смущаясь, продолжала:

– Ничего я с собою не могу поделать: должна к ней пойти. Так и тянет с утра. Если я на нее не погляжу, – всю жизнь, кажется, буду о ней думать. А вот насмотрюсь на нее хорошенько – и сразу успокоюсь.

Цирюльник пожал плечами и конфиденциально поведал господину, щеку которого он скоблил:

– Скажите на милость, что творится в головах этих проклятых баб! Нашла удовольствие глядеть на покойника!

Жена слышала его слова, но невозмутимо твердила свое:

– Думай, что хочешь, а я верно говорю.

И, положив вязанье на кассу, она поднялась на второй этаж.

Там уже были две соседки, толковавшие о случившемся с г-жою Караван; та передавала им подробности. Отправились в комнату покойницы. Все четыре женщины вошли на цыпочках, поочередно обрызгали простино соленой водой, преклонили колени, перекрестились, пробормотали молитву; затем они поднялись и долго разглядывали мертвую, вытаращив глаза и разинув рот, в то время как невестка покойной, закрыв лицо платком, делала вид, что отчаянно рыдает.

Обернувшись, чтобы выйти, она увидела стоящих около двери Мари-Луизу и Филиппа-Огюста; оба вочных рубашках с любопытством таращили глаза. Забыв о своем притворном горе, она напустилась на них, замахнувшись рукой и сердито крича:

– Убирайтесь отсюда, проклятые шалуны!

Снова поднявшись десять минут спустя со второй партией соседок, снова покропив веткой букса свекровь, помолившись, похныкав и выполнив все свои обязанности, она опять увидела детей, стоявших позади нее. Для очистки совести она вновь отшлепала их, но в дальнейшем уже не обращала на них внимания; и при всяком новом приходе посетителей оба ребенка следовали за ними, тоже становились на колени в углу и неизменно подражали всему тому, что на их глазах проделывала мать.

После полудня приток любопытных уменьшился. Вскоре уже не приходил никто. Г-жа Караван, вернувшись к себе, занялась приготовлениями к похоронному обряду; усопшая осталась в одиночестве.

Окно было открыто. В комнату вместе с клубами пыли врывалась нестерпимая жара; пламя четырех свечей колебалось возле неподвижного тела, а по простище, по лицу с закрытыми глазами, по обеим вытянутым рукам старухи ползали маленькие мушки, беспрестанно копошились, сновали туда и сюда в ожидании часа своего торжества.

Между тем Мари-Луиза и Филипп-Огюст снова отправились болтаться по улице. Вскоре их окружили товарищи, все больше девочки, которые всегда раньше и пытливее мальчиков желают постичь тайны жизни. Они задавали вопросы, как взрослые:

– Твоя бабушка умерла?

– Да, вчера вечером.

– Какие бывают мертвые?

Мари-Луиза объясняла, рассказывала про свечи, про веточку букса, про лицо умершей. Жгучее любопытство охватило детей, и они стали проситься наверх, к покойнице.

Мари-Луиза тотчас организовала первый отряд паломников из пяти девочек и двух мальчиков, самых больших, самых храбрых. Она заставила их снять башмаки, чтобы их не услыхали; отряд прокрался в дом и проворно взобрался наверх, как стая мышей.

Войдя в комнату, девчурка, подражая матери, проделала весь церемониал. Торжественно введя своих товарищней, она стала на колени, перекрестилась, пошевелила губами, поднялась, окропила кровать и пока испуганные, любопытные и восхищенные дети подходили тесной гурьбой, разглядывая лицо и руки покойницы, она вдруг начала притворно рыдать, закрыв глаза платочком. Затем она быстро успокоилась и, вспомнив о тех, которые ожидали ее перед дверью дома, увела всю компанию, чтобы вскорости привести вторую группу и третью, потому что на это развлечение сбежалась вся окрестная детвора вплоть до маленьких нищих в лохмотьях; и всякий раз девочка с изумительным совершенством повторяла все кривлянья своей матери.

Под конец ей это надоело. Детей увлекла другая игра, и старая бабушка, всеми забытая, осталась в полном одиночестве.

Сумерки заполнили комнату; на сухом сморщенном лице покойницы колеблющееся пламя свечей трепетало бликами света.

Около восьми часов Караван поднялся наверх, затворил окно и вставил новые свечи. Он входил теперь уже спокойно, привыкнув смотреть на труп, словно тот лежал там целые месяцы. Он даже удостоверился, что признаков разложения еще нет, и сообщил об этом жене, когда садился обедать. Та ответила:

– Да ведь она все равно что деревянная, она и год продержится.

Супьяи, не проронив ни слова. Дети, целый день бегавшие без всякого присмотра, страшно утомились и дремали на стульях. Все

молчали.

Внезапно свет лампы начал меркнуть.

Г-жа Караван подвернула фитиль, но горелка издала глухой звук, протяжное хрюпение, и огонь погас. Позабыли купить масла! Пойти в бакалейную лавку значило бы задержать обед; стали искать свечей, но их не оказалось, кроме тех, что горели наверху, на ночном столике.

Г-жа Каравая, скорая на решения, тотчас послала Мари-Луизу взять две из них, и все дожидались ее в темноте.

Сначала ясно слышались шаги девочки, подымавшейся по лестнице. Затем на несколько секунд наступила тишина, и вдруг девочка стремглав побежала вниз. Она открыла дверь, еще более взволнованная и перепуганная, чем накануне, когда объявила о катастрофе, и еле пролепетала:

– Папа! Бабушка одевается!

Караван вскочил так, что стул отлетел к стене.

– Что ты говоришь? – пробормотал он. – Что такое ты говоришь?

Задыхаясь от волнения, Мари-Луиза повторила!

– Ба… ба… бабушка одевается… она сейчас сойдет вниз.

Он, как безумный, бросился на лестницу в сопровождении растерявшейся жены, но перед дверью третьего этажа остановился, дрожа от ужаса, не решаясь войти. Что увидит он там? Г-жа Караван, более решительная, повернула ручку двери и вошла в комнату.

Комната словно стала темнее, а посередине ее двигалась длинная, худая фигура. Старуха была на ногах. Пробудившись от летаргического сна и еще хорошенеко не прийдя в себя, она повернулась на бок, приподнялась на локте и потушила три из четырех свечей, горевших у ее скромного одра. Затем, когда к ней вернулись силы, она встала, чтобы одеться. Сперва ее смущило исчезновение комода, но мало-помалу она разыскала свои вещи в ящике для дров и преспокойно оделась. Затем она вылила воду из тарелки, засунула веточку букса обратно за зеркало, поставила стулья по местам и уже собиралась спуститься вниз, когда перед нею явились вдруг ее сын и невестка.

Караван бросился к ней, схватил ее руки, целуя их со слезами на глазах, а жена его лицемерно твердила:

– Какое счастье! Ах, какое счастье!

Старуха, ничуть не растроганная этим, даже как будто не понимала, что случилось. Стоя неподвижно, как статуя, она холодно взглянула на них и спросила только:

– Скоро подадут обед?

Совсем потеряв голову, он лепетал:

– Ну да, мама, мы как раз и ждали тебя.

И с непривычной заботливостью взял ее под руку, а г-жа Караван-младшая, держа свечу, светила им, пятясь со ступеньки на ступеньку, точь-в-точь так же» как прошлой ночью, когда она спускалась впереди мужа, несшего мраморную доску.

На втором этаже она чуть было не столкнулась с людьми, подымавшимися по лестнице. То было семейство из Шарантона – г-жа Бро с супругом.

Высокая, дородная, с огромным, как от водянки, животом, заставлявшим ее откидываться назад, г-жа Бро в ужасе вытаращила глаза и чуть было не обратилась в бегство. Но ее муж, сапожник-социалист, маленький человечек, заросший волосами по самые глаза, совершенно как обезьяна, проговорил с полным спокойствием:

– Вот оно что! Воскресла?

Увидев их, г-жа Караван стала делать им отчаянные знаки, а затем громко добавила:

– Как это случилось?.. Вы здесь? Вот приятная неожиданность!

Ошарашенная г-жа Бро ничего не могла понять и вполголоса отвечала:

– Да ведь мы приехали по вашей телеграмме; мы думали, что уже конец.

Муж щипал ее сзади, чтобы она замолчала. Лукаво усмехаясь в густую бороду, он добавил:

– Так любезно с вашей стороны, что вы нас пригласили. Мы тотчас же и приехали.

Он намекал на враждебные отношения, давно уже установившиеся между двумя семействами. Затем, когда старуха спустилась на последнюю ступеньку, он подошел к ней, потерся об ее щеку бородой и закричал ей на ухо, чтобы она расслышала:

– Как живем, мамаша? Все по-прежнему, молодцом?

Г-жа Бро, которая все еще никак не могла прийти в себя, видя живою свою мать, которую она ожидала найти мертвой, не решалась даже ее поцеловать; ее огромный живот загородил всю площадку лестницы и не давал никому пройти.

Старуха, встревоженная, подозрительная, но все еще не говоря ни слова, оглядывала всех окружающих; ее маленькие серые жесткие глазки испытующе впивались то в того, то в другого, с ясно выраженным вопросом, стеснявшим ее детей.

Караван в виде объяснения сказал:

– Она прихворнула немнога, но теперь чувствует себя хорошо, совсем хорошо. Правда, мама?

А старуха, двинувшись дальше, ответила разбитым голосом, как бы доносившимся издалека:

– Это был обморок; я все время вас слышала.

Последовало неловкое молчание. Вошли в столовую и сели за обед, состряпанный на скорую руку.

Один лишь г-н Бро сохранил весь свой апломб. Его лицо, злое, как у гориллы, то и дело гримасничало, и он ронял по временам двусмысленные слова, приводившие всех в смущение.

Каждую минуту раздавались звонки, растерянная Розали вызывала Каравана, и тот выбегал в переднюю, кидая на стол салфетку. Зять даже спросил его, не приемный ли у них день сегодня? Караван пробормотал:

– Нет, это ничего, это поручения.

Когда ему принесли какой-то пакет, он неосмотрительно вскрыл его; показались окруженные траурной каймой уведомления о кончине. Покраснев до ушей, он свернул пакет и сунул в карман.

Мать не заметила этого; она упорно глядела на свои часы, золоченый бильбоке которых качался на камине. И среди царившего ледяного молчания общее смущение все возрастало.

Но вот старуха обратила к дочери морщинистое, как у ведьмы, лицо и, злобно сощурив глаза, произнесла:

– В понедельник привези сюда свою дочку, я хочу ее видеть.

Г-жа Бро с просиявшим лицом воскликнула: «Хорошо, мамаша!», – а г-жа Караван-младшая побледнела и чуть не упала в обморок от испуга.

Тем временем мужчины разговорились, и между ними без всякого повода загорелся политический спор. Бро, отстаивая революционные и коммунистические идеи, волновался, глаза его на волосатом лице горели, и он кричал:

– Собственность, милостивый государь, это кражу у трудящегося; земля принадлежит всем; наследование – преступление и позор!..

Но тут он внезапно осекся, смущившись, как человек, который только что сказал глупость; затем добавил более мягким тоном:

– Ну, сейчас не время обсуждать эти вопросы.

Дверь открылась; появился доктор Шене. В первую минуту он растерялся, но оправился и подошел к старухе:

– Ага, мамаша, сегодня нам лучше! Знаете, а ведь я так думал. Вот сейчас подымался по лестнице и говорил себе: «Держу пари, что застану бабушку на ногах».

Тихонько похлопав ее по спине, он добавил:

– Крепка, как Новый мост; она еще всех нас похоронит.

Он присел, взял предложенную ему чашку кофе и не замедлил вмешаться в разговор мужчин, поддерживая г-на Бро, потому что и сам был скомпрометирован участием в Коммуне.

Почувствовав себя утомленной, старуха захотела уйти к себе. Караван бросился к ней. Пристально глядя ей в глаза, она сказала:

– Изволь немедленно снести ко мне наверх комод и часы.

И пока он, заикаясь, бормотал: «Хорошо, мамаша», – она взяла дочь под руку и вышла с нею.

Супруги Караван остались в растерянности, немые, подавленные обрушившимся на них несчастьем, в то время как Бро пил кофе, потирая руки от удовольствия.

И вдруг г-жа Караван, обезумев от гнева, напустилась на него с воплем:

– Вы вор, негодяй, каналья!.. Я плюю вам в лицо, я вам... я вас...

Она не находила слов, задыхалась, а он смеялся, продолжая прихлебывать кофе.

Когда возвратилась его жена, г-жа Караван набросилась на свою золовку, и обе они, одна грузная, с выпяченным животом, другая – истеричная и тощая, не своим голосом изливали друг на друга целые потоки ругательств; руки их так и ходили.

Шене и Бро вмешались в скору: сапожник, взяв свою жену за плечи, вытолкал ее из дома, покрикивая:

– Ну, проваливай, дурища, уж очень ты разоралась!

И с улицы еще долго слышно было, как они удалялись, продолжая переговариваться.

Г-н Шене откланялся.

Супруги Караван остались одни.

И тут муж рухнул на стул, обливаясь холодным потом, и прошептал:

– Что же я скажу теперь своему начальству?